

ТЕОДОР СТАРДЖОН

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

УДК 821.111-312.9(73)
ББК 84(7Сое)-44
С77

Серия «Эксклюзивная классика»

Theodor Sturgeon
MORE THAN HUMAN

Перевод с английского Ю. Соколова

Серийное оформление Е. Фerez

Печатается с разрешения автора и литературных агентств
The Lotts Agency и Andrew Nurnberg.

Старджон, Теодор.

С77 Больше, чем люди : [роман] / Теодор Старджон ;
[пер. с англ. Ю. Соколова]. — Москва : Издательство
АСТ, 2017. — 320 с. — (Эксклюзивная классика).
ISBN 978-5-17-101318-9

«Больше, чем люди» — один из самых знаменитых романов, определивших развитие фантастического жанра.

Номо Futurus, человек грядущего, обладающий сверхъестественными способностями, — кто он? Супермен? Человек-паук? Выращенный в пробирке секретной лаборатории гомункулус?

На этот вопрос Старджон дает совсем неожиданный ответ.

Итак: *Идиот жил в черно-сером мире, который пронзали белые молнии голода и мерцающие зарницы страха...*

УДК 821.111-312.9(73)
ББК 84(7Сое)-44

© Theodor Sturgeon, 1953
© Перевод. Ю. Соколов, 2017
ISBN 978-5-17-101318-9 © Издание на русском языке AST Publishers, 2017

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ИДИОТ

Идиот жил в черно-сером мире, который пронзали белые молнии голода и мерцающие зарницы страха. В его ветхой одежде зияли окна прорех. В них выглядывало то колено, угловатое и острое, как зубило, то частокол ребер. Долговязый, плоский парень. И на мертвом лице — застывшие глаза.

Мужчины откровенно отворачивались от него, а женщины не решались поднять взгляд. Лишь дети подолгу разглядывали идиота. Но он не обращал на них внимания. Идиот ни от кого ничего не ждал. Когда ударяла белая молния, его кормили. Пропитание он добывал сам или вовсе обходился. А случалось, его кормил первый встречный. Идиот не знал, почему так происходит, и не задумывался об этом. Он не просил, он просто стоял и ждал. И стоило прохожему заглянуть в его глаза, как в руке идиота оказывалась монетка, кусок хлеба или какой-нибудь плод. Тогда он ел, а неожиданный благодетель торопился прочь, охваченный смутной тревогой и недоумением. Изредка с ним пытались заговорить; иногда о нем говорили между собой. Он слышал звуки, но смысла для него

они не имели. Он жил сам в себе, далеко-далеко, не ведая связи между словом и его значением. Видел он великолепно и мгновенно замечал разницу между улыбкой и гневным оскалом, но ни та ни другая гримасы ничего не значили для существа, лишённого сочувствия, никогда не смеявшегося и не скалившегося, а потому не понимавшего чувств своих веселых или гневных собратьев.

Страх в нем хватало ровно на то, чтобы сохранить целыми шкуру и кости. Он не умел предвидеть что-либо вообще. Так что всякая занесенная палка, любой брошенный камень заставляли его врасплох. Правда, первое же прикосновение пробуждало его. Он спасался бегством. И не успокаивался, пока не стихала боль. Так он избегал бурь, камнепадов, мужчин, собак, автомобилей и голода.

Идиот ничего не желал. Вышло так, что жил он скорее в глуши, чем в городе; и поскольку жил там, где оказывался, получалось, что оказывался по большей части в лесу, а не где-то еще.

Четыре раза его запирали, и всякий раз это ничего не значило для него и ничего не меняло в нем. Однажды его жестоко избил сокамерник, другой раз, еще сильнее, охранник. В двух других местах был голод. Когда у него была пища и его оставляли в покое, он оставался. Когда наступало время бежать, он бежал. Средства для спасения предоставляла внешняя оболочка его существа, сердцевина же его или вовсе не тревожилась, или никак не распоряжалась своей скорлупой. Но когда приходило время, тюремщик или охранник замирали перед лицом идиота, в глазах которого словно кружили

колеса радужек. Тогда запоры и засовы сами собой открывались, идиот уходил, а благодетель, как всегда, торопился найти себе какое-нибудь занятие, чтобы скорее забыть то, что произошло.

Идиот был животным... тварью, слишком деградировавшей для того, чтобы жить среди людей. И большую часть своего времени он проводил животным вдали от других людей. И будучи животным, по лесу он передвигался с изяществом зверя. И убивал как животное: без радости и без ненависти. Как животное, ел все съедобное, что удавалось найти, и когда ел (если это случалось), ел досыта, но не более. И спал он, подобно животным, сном неглубоким и легким, противоположным человеческому сну, ибо человек спит, чтобы погрузиться в сон, а животное для того, чтобы проснуться от сна. Он был зрелым зверем: игры котят и щенят не занимали его. Не знал он шуток и радости. Настроение его менялось от ужаса к удовлетворению.

Было ему двадцать пять лет.

Но, как косточка в персике, как желток в яйце, пребывало в нем нечто другое... пассивное, восприимчивое, бодрствующее и живое. И если оно было чем-то связано с животной оболочкой, то игнорировало эти связи. Сущностью своей оно происходило от идиота, однако во всем прочем пренебрегало им. Он часто чувствовал голод, но по-настоящему голодал редко. И когда голодал, это внутреннее, быть может, немного съеживалось, однако не замечало собственного умаления. Оно должно было умереть вместе со смертью идиота,

однако не испытывало желания отсрочить это событие хотя бы на секунду.

Это оно не обладало никакой функцией, присущей именно идиоту. Селезенка, почка, надпочечник — все эти органы имеют свои конкретные функции, исполняемые на оптимальном уровне. Однако существовавшая в идиоте штукавина только воспринимала и запоминала. Она делала это без слов, без какой-либо кодирующей системы; без перевода, без искажения, без действующих выводов наружу. Она воспринимала то, что воспринимала, и ничего не выдавала вовне.

Своими особыми чувствами ощущала окружавшее ее тихое бормотанье, посылку. Она была пропитана этим бормотаньем, и когда оно приходило, поглощала его целиком и полностью. Быть может, она сопоставляла его и классифицировала, а возможно, просто питалась им, забирая необходимое и отбрасывая остальное каким-то непостижимым для нас образом. Идиот об этом не знал. Штуковина же...

Без слов: *тепло, когда ненадолго становится чуть сыровато, но ненадолго и недостаточно. (Печально): Больше не темно. Ощущение удовольствия. Чувство давления, легкий треск и уберите розовое и колючее. Подожди, подожди-ка, ты еще можешь вернуться, да, ты можешь вернуться. Другим, но почти не хуже. (Клонит в сон): Это, оно вот! Это же — ох! (Тревога): Ты зашел слишком далеко, вернись назад, вернись назад, верн... — (гнетущее внезапное прекращение; на один «голос» меньше.)... Все несется вперед, быстрее и быстрее,*

уносит меня. (Ответ): Нет и нет. Ничто не несется. Все покоится; что-то пригнетает тебя к себе, вот и все. (Ярость): Они не слышат нас, глупые, глупые... Они... Нет, не слышат, только плач, только ропот.

И все это без слов. Впечатление, уныние, диалог. Излучения страха, напряженные поля сознания, недовольства. Бормотание, посылка, речь, общение с сотнями, с тысячами голосов, обращенных не к идиоту. Ничего имеющего к нему отношение; ничего такого, чем он мог бы воспользоваться. Он не подозревал о внутреннем слухе, потому что слух этот был бесполезен. Идиот был плохим образчиком человеческой природы, и при всем том являлся мужчиной; а голоса эти принадлежали детям. Очень маленьким детям, не научившимся еще не пытаться докричаться до ближних. *Только плач, только шум...*

Мистер Кью был отличным отцом, лучшим из всех отцов. Так он сам сказал своей дочери Алисии в ее девятнадцатый день рождения. Эти слова он повторял дочери с той поры, как ей исполнилось четыре года. Столько лет было Алисии, когда появилась на свет крошечная Эвелин, и мать обеих девочек умерла, проклиная мужа, ибо на сей раз пробудившееся в ее душе негодование пересилило ее муки и страх...

Только хороший отец, лучший из всех отцов, мог сам принять роды. И только исключительный отец мог вынянчить и выпестовать обеих девиц с беспримерной заботой и нежностью. Ни один ребенок на свете не был огражден от зла столь на-

дежно, сколь Алисия; а когда она подросла и соединила свои силы с отцом, для Эвелин был создан прочнейший покров чистоты.

— Чистоты тройной перегонки, — сказал Алисии мистер Кью в ее девятнадцатый день рождения. — Зло я знаю отменно — во всех его проявлениях, а потому учил тебя только добродетели, чтобы ты была примером, звездой для Эвелин. Я знаю все зло, каким оно есть, а тебе известно то зло, коего следует избегать девице, но Эвелин не знает зла.

В свои девятнадцать Алисия была достаточно зрелой, чтобы понимать такие абстракции, как «все его проявления» и «перегонка», а также такие общие понятия, как «добро» и «зло». В шестнадцать отец объяснил ей, как, оставшись наедине с женщиной, мужчина теряет рассудок и на теле его выступает ядовитый пот... Этот пот способен отравить женщину. В книгах отца были отвратительные картинки, подтверждавшие эти слова. В тринадцать у нее впервые случились некие неудобства, и она рассказала о них отцу. Со слезами на глазах тот поведал ей, что это приключилось потому, что она слишком занята своим телом. Алисия призналась в этом, и отец наказал это тело так, что она пожалела, что оно у нее есть. Алисия со всем усердием старалась не думать о теле, но это не всегда ей удавалось, и отец регулярно, с полным прискорбием помогал ей смирить непокорную плоть. Еще в восемь он научил ее купаться в полной темноте, дабы не появились бельма на глазах, изображения которых также присутствовали в его библиотеке. А в шесть он повесил в ее спальне кар-

тину, изображавшую женщину по имени Ангел и мужчину по имени Дьявол. Женщина поднимала руки вверх и улыбалась, а мужчина тянул к ней крючковатые и когтистые руки, а наружу из груди его торчал кривой и влажный шип.

Жили они в тяжеловесном доме на челе заросшего лесом холма. К дому не вела ни одна дорога, лишь тропка петляла сквозь заросли, так чтобы не было такого окна, из которого предоставлялась бы возможность проследить весь ее извилистый путь. Тропа подходила к стене, к железным воротам, не открывавшимся целых восемнадцать лет; рядом с ними было стальное окошко. Раз в день отец Алисии отправлялся к стене и двумя ключами открывал два замка в окошке. Потом поднимал металлическую панель, забирал продукты и письма, оставлял деньги и свою почту и вновь запирали окно.

Снаружи к стене подходила узкая дорога, которой Алисия и Эвелин никогда не видели. Лес скрывал стену, и стена скрывала дорогу. Стена тянулась вдоль дороги на двести ярдов в обе стороны, на восток и на запад, а потом взбегала на холм, пока целиком не охватывала дом. Здесь ее продолжал железный частокол высотой футов в пятнадцать, такой плотный, что между стальными штакетинами едва можно было просунуть кулак. Верхушки их были загнуты вниз и наружу, а понизу уходили в цемент, утыканный битым стеклом. Забор тянулся на запад и восток, соединяя дом со стеной, а там, где они смыкались, начинался новый забор, кружком охватывавший лес. Стена и дом образо-

ывали прямоугольник, являвшийся запретной для посторонних территорией. Позади дома находились две огороженных квадратных мили леса, принадлежавшие Эвелин под присмотром Алисии. Там был ручеек, дикие цветы и маленький пруд, друзья-дубы и укромные лужайки. Небо над лесом оставалось чистым и близким, а забор нельзя было заметить за плотными зарослями падуба, закрывающими перспективу, преграждающими путь ветерку. Этот крошечный пятачок был для Эвелин целым миром, больше она ничего и не знала — все, что она любила, заключалось внутри ограды.

В девятнадцатый день рождения Алисии Эвелин сидела одна у своего пруда. Она не видела дом, не видела заросли падубов и заборы, однако над нею высилось небо, а рядом журчала вода. Алисия ушла в библиотеку вместе с отцом, по случаю дней рождения он всегда находил для нее в библиотеке что-то особенное. Эвелин в эту комнату никогда не допускали. В библиотеке жил сам отец. И в нее разрешалось заходить только Алисии, и то по особым случаям. Эвелин и в мыслях не имела войти туда, — не более чем научиться дышать под водой подобно пятнистой форели. Младшую сестру даже не учили читать — только слушать и повиноваться. Ей не суждено было искать — лишь принимать. Знание было даровано ей только тогда, когда она оказывалась готовой принять его, и только отец и старшая сестра знали, когда настанет этот момент.

Эвелин сидела на берегу, расправив длинные юбки. Заметив, что оголилась лодыжка, она охну-

ла и поспешно прикрыла ее, как сделала бы Алисия, окажись она рядом. Прислонившись спиной к ивовому стволу, она глядела на воду.

Была весна, та самая пора, когда уже лопнули все оболочки, когда по иссохшим сосудам хлынули соки, когда раскрылись склеенные смолой почки, когда в стремительном порыве весь мир разом обрел красу. Воздух стал сладким и густым, он щекотал губы, и они раздвигались — он настаивал на своем, — и они отвечали улыбкой... и тогда он рвался в легкие, чтобы вторым сердцем забиться у горла. В воздухе этом была загадка, тишину и покой его наполняли недвижные краски снов, и все же он куда-то спешил. Этот покой, это стремление наполняла собственная жизнь, но как могли так тесно сплестись друг с другом стремление и покой... в этом крылась загадка.

Пересвист птиц мелким стежком прошивал зелень. Глаза Эвелин пощипывало, и лес расплывался за туманной пеленой изумления. Что-то напрыглось у нее на коленях, она посмотрела вниз и увидела, как руки ее набросились друг на друга, и полетели в траву длинные перчатки. Нагие ладони взметнулись к вискам — не для того, чтобы спрятаться, но чтобы разделить нечто. Она наклонила голову, и ладони улыбнулись друг другу под железным пологом расчесанных волос. Обнаружив четыре крючка, пальцы ее растегнули их. Руки сами собой потянулись к крючкам. Высокий воротник распахнулся, и зачарованный воздух с безмолвным криком припал к ее телу. Эвелин задыхалась, словно от бега. Нерешительно, робко она

протянула руку, погладила траву, словно пытаюсь поделиться невыразимым восторгом, переполнявшим ее. Но трава не отвечала, и Эвелин упала на землю, зарывшись лицом в юную мяту, и зарыдала: столь невыносимо прекрасной была эта весна.

Идиот тем временем бродил по лесу. Он отди-
рал кору с мертвого дуба, когда подобное прои-
зошло и с ним. Руки замерли, голова повернулась
на зов. Власти весны он подчинялся как всякий
зверь, может, чуть острее. И вдруг она разом сде-
лалась чем-то большим, чем просто густой, испол-
ненный надежд воздух, чем истекающая жизнью
земля. Жесткая рука на его плече не могла быть
более властной, чем этот зов.

Идиот поднялся — осторожно, словно бы мог
неосторожным движением сломать что-то рядом
с собой. Станные глаза загорелись. Он шел... он,
которого до сих пор никто еще не звал, он, кото-
рый не звал никого и никогда. Он шел к тому, что
ощущал, подчиняясь не внешнему зову, но собст-
венной воле. Идиот начинал думать... Он ощущал,
как рвется внутри оболочка, прежде сдерживавшая
потребность в мысли. Всю его жизнь она, долж-
но быть, таилась внутри его существа. Сейчас этот
властный зов был обращен ко всему человеческому
в нем, к той части его, что до этого дня слышала
лишь младенческий лепет и дремала, забытая и не-
нужная. Но теперь она говорила. И получалось,
что говорила на собственном языке.

Он был осторожен и быстр, быстр и осторожен.
То туда, то сюда разворачивая широкие плечи,

скользил сквозь заросли. Шел бесшумно и легко, пробираясь меж стволами ольхи и березы, задевая стройные колонны сосен, как если бы не имел права оставить прямую линию, соединявшую его с этим зовом. Солнце стояло высоко; лес вокруг был тем же самым лесом впереди, справа и слева, но он шел, не сворачивая, в одном только ему ведомом направлении, следуя не знанию, не компасу, но осознанному внутреннему зову.

Он добрался до места внезапно. Ведь когда идешь по лесу, поляна — всегда неожиданность. Вдоль частокола все деревья были тщательно вырублены футов на пятьдесят, чтобы ни одна ветвь не могла перевеситься через забор. Идиот выскользнул из леса и затрусил по нагой земле к тесному ряду железных прутьев. На бегу он вытянул вперед руки, и когда они уперлись в равнодушный металл, ноги его все еще двигались, ступни толкались, как если бы нужда давала ему силу, чтобы пройти сквозь забор и густую заросль падуба за ним.

Преграда не поддавалась, и этот факт постепенно доходил до него. Получилось так, что первыми осознали это его ноги, осознали и перестали пытаться. А потом поняли это и руки. Поняли и отодвинулись от забора. Только глаза не сдавались. Взирая с мертвого лица, взглядом своим они пронзали забор, пронзали стену падуба, готовые взорваться ответом. Рот его открылся, извергая какой-то скрежет. Он никогда еще не пытался заговорить и не мог этого сделать сейчас, жест был итогом, но не средством, подобием слез, выступивших на реснице при музыкальном крещендо.

И он пошел вдоль забора боком, не имея сил отвернуть свое лицо от преграды.

Весь день лил дождь, лил он и ночью, только к полудню следующего дня прекратился, но едва выглянуло солнце, дождь снова хлынул, но уже вверх. Струи света били в зенит от тяжелых алмазов, усыпавших богатую новую зелень. Некоторые из алмазов съезживались, другие падали, и тогда земля благодарила голосом мягким, листья голосом своей кожицы, и цветы своими красками.

Эвелин припала к окну, положив локти на подоконник и обхватив щеки руками, губы от этого сами собой растягивались в улыбку. Она тихо пела. Странной была песня для слуха, ведь девушка не ведала музыки и даже не знала, что таковая существует на свете. Но вокруг щебетали птицы, а в печных трубах стонал ветер, перекликалась и пере-свистывалась мелкая живность в принадлежащей ей части леса — и в той части, что была запретна для нее, и перешептывались в вышине кроны дубов. Из этих голосов и сложилась песнь Эвелин, странная и безыскусная, не знающая ни диатонической гаммы, ни размера:

Но я не трогаю счастье
И не смею я тронуть счастье.
Прелесть, о прелесть касанья,
Листья света между мною и небом.
Дождь коснулся меня,
Ветер тронул меня,
Листья кружат
И несут прикосновенье...

Потом она пела без слов, а еще позже пела без звука, провожая глазами капли, алмазами осыпающиеся с ветвей.

— Что это... что ты делаешь? — прозвучало вдруг резко и грубо.

Эвелин вздрогнула и обернулась. Позади нее стояла Алисия, лицо ее окаменело.

Махнув рукой в сторону окна, Эвелин попыталась заговорить...

— Ну же?

Эвелин снова махнула в сторону окна.

— Там, — сказала она, — я... я, — и, соскочив со стула, встала. Встала, выпрямившись во весь рост. Лицо ее горело.

— Застегни воротник, — проговорила Алисия. — Что это случилось с тобой?

— Я стараюсь, — проговорила Эвелин голосом тихим и напряженным. Она поспешно застегнула воротник, но тут ладони ее легли на грудь. Эвелин стиснула свое тело. Шагнув вперед, Алисия сбросила ее руки.

— Нельзя. Что это... что ты делаешь? Ты говорила? С кем?

— Да, говорила! Но не с тобой и не с отцом.

— Но здесь никого нет.

— Есть, — промолвила Эвелин. И вдруг, задохнувшись, попросила: — Прикоснись ко мне, Алисия.

— *Прикоснуться?* К тебе?

— Да. Я... хочу, чтобы ты... просто... — Она протянула руки к сестре. Алисия попятилась.

— Мы не прикасаемся друг к другу, — проговорила она по возможности мягким тоном, стараясь